# Дуэль

# Сергей Снегов

Со Львом Николаевичем Гумилевым я познакомился осенью 1939 года в шестом лаготделении Норильского ИТЛ.

Удивительный человек, Евгений Сигизмундович Рейхман, инженер по металлоконструкциям и знаток Ренессанса, любомудр и поклонник поэзии, доверительно сообщил мне, что в лагере появился сын Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. И тот сын — по имени Лев — не только совместное произведение великих поэтов, но и сам поэт и, по всему, не уступит прославленным родителям. У Ахматовой я знал многое наизусть, но относился к ней сравнительно спокойно, а Николая Гумилева был поклонник. Естественно, я запросил знакомства. Уж не помню, кто его организовал, кажется, не Рейхман, но и Льва заинтересовали рассказы обо мне, и он согласился на встречу.

Знакомство состоялось между бараком геологов, где обитал Гумилев, и бараком металлургов, куда поселили меня. Из геологического вертепа вышел молодой парень: худощавый, невысокий, с выразительно очерченным лицом, крепко сбитым телом, широкими плечами. Я пошел навстречу.

—Как вы похожи на отца! — сказал я.

—Вы находите? — Он сразу расцвел. Признание в сходстве с отцом было ему приятно, к тому же в те времена мало кто помнил портреты его отца и уже по этому одному не мог определить степень схожести. Впоследствии, я убедился, что он гораздо больше похож лицом на мать, но не ранней, альтмановской кисти, а на мать пожилую. Но в этот момент первой встречи я искал в его лице отцовских черт и, разумеется, нашел их.

— Како веруете в лагере? — поинтересовался он.

— Исповедую Филона и Канта, — ответил я, не задумываясь.

— В смысле: филоню и кантуюсь.

И мы долго хохотали. Ни он, ни я не филонили и не кантовались, мы трудились по совести, осмысленная работа была, возможно, тем главным, что поддерживало в нас ощущение своего человеческого достоинства. Но любители хлесткого слова, мы подтрунивали и над собой — и это было важной радостью нерадостного, в общем, бытия.

Мы ходили по лагерю дотемна. Мы открывали друг другу души. Мы сразу влюбились друг в друга. Он читал мне свои стихи, я знакомил его со своими философскими концепциями — мне тогда казалось, что создаю оригинальную философскую систему и — что, пожалуй, всего удивительней — порой убеждал в этом и тех, кому доверял быть слушателями. В тот первый день знакомства он прочитал мне наизусть «Историю отпадения Нидерландов от испанского владычества», написанную на лагерном сленге — новорусском языке, как мы вскорости окрестили этот полублатной жаргон. Мой восторг воодушевил Льва, он поразил меня тонким чувством слова, остроумием, силой речи. Именно в тот вечер он прочел мне программное, как нынче говорят, поэтическое свое представление о себе. Доныне восхищаюсь этим мастерским произведением:

Дар слов, неведомый уму,

Был мне завещан от природы.

Он мой. Веленью моему

Покорно все, земля и воды,

И легкий воздух, и огонь

В одно мое сокрыты слово.

Но слово мечется, как конь,

Как конь вдоль берега морского,

Когда он, бешеный, скакал,

Влача останки Ипполита,

И помня чудища оскал,

И блеск чешуи, как блеск нефрита.

Сей грозный лик его томит

И ржанья гул подобен вою.

А я влачусь, как Ипполит,

С окровавленной головою.

И вижу — тайна бытия

Смертельна для чела земного,

И слово мчится вдоль нея,

Как конь, вдоль берега морского.

— Вы — трагический агностик, Лев, — восхищенно высказался я.

— И вы настоящий поэт! Уверен, вы станете провидцем, — и меня часто таким признавали, особенно когда говорил собеседнику желанное ему. И, конечно, когда философствовал на политические темы. Так Федя Витенз много лет потом вспоминал — и я вместе с ним и без него, — что утром 22 июня 1941 года мы сидели в лагерной зоне у ручейка, и я доказывал ему, что в ближайшие дни начнется война с Германией, он сомневался и возражал, а когда мы возвращались в барак, нам побежал навстречу Александр Игнатьевич Рыбак и закричал: «Война! Гитлер напал на нас!» Вероятно, я больше их был подавлен так трагически сверкнувшим во мне даром Кассандры.

Льва мои восхищения и провидения устраивали. Несколько месяцев подряд мы встречались ежедневно. В барак геологов я не ходил, там было интеллигентно и чопорно. Лев прибегал ко мне, наш барак был демократичен, в нем велись философские дискуссии под мат соседей, в темноте меж нар пился спирт и «сношались» блатные с «проститутней» — вполне способно было в таком окружении вести беседы обо всем на свете и о многом прочем. Еще чаще, коли позволяла погода, мы шлялись по зоне, особенно по бережку Угольного ручья, прорезавшего по всей длине наше шестое лаготделение. Лев тогда писал поэму о Джамуге и Борте, его любовнице и жене Темучина, ставшего — после победы над Джамугой — девятибунчужным Чингис-Ханом. Он — Лев, а не Темучин — ежедневно знакомил меня с новыми строфами и строками, я с радостью выслушивал, он здорово это умел, Левушка Гумилев, — писать хорошие стихи. С осторожностью и я стал посвящать его в свои поэтические излияния. К моим стихам он относился вежливо, но равнодушно, я не был, так он твердо считал, соперником ему в поэзии. Иные строфы он даже снисходительно похваливал. Я прочел как-то:

Хоть бы раз написать хорошую строчку!

Надоел мне метр моего стиха,

Все пишу и терзаюсь и, ставя точку,

Ненавижу написанное...

— Вот и написал хорошую строчку, — сказал он. — Очень неплохой строчкой начал стихотворение. Чего еще тебе надо?

Иногда он и запоминал кое-что в моих стихах. Так из первой части трагедии «Никандр Двенадцатый» он затвердил несколько строк из монолога Шарлюса: «Не верь здоровью. Здоровье выдумали доктора» — и спустя сорок с лишним лет цитировал их. Между прочим, трагедию он похвалил, прослушав первый акт, но объявил, что дальше писать не о чем, все завершено уже 6 первом действии — и очень удивился, когда я написал еще четыре акта и сюжетных катаклизмов хватило и на них. Он почему-то считал трагедию выдержанной в марксистском духе. Уже профессором истории в ЛГУ, он говорил мне: «Помнишь, в той твоей марксистской драме... Никандре, так?..»

Как и требовалось по ситуации, мы всего больше обсуждали три темы — личность Сталина, положение в мире и поэзию с философией. Что до Сталина, то быстро установили, что он по политической своей сути эсер, ибо для него личность — решающая сила истории и потому каждое так называемое «объективное обстоятельство» имеет у него фамилию, имя и отчество. И мы, уже не поминая его имени, все же вслух и всуе поминать его было небезопасно, просто говорили: «Как утверждал один известный эсер» — и было все ясно, о ком речь. Прогнозы действий Сталина вытекали из этой дефиниции: «Марксиствующий эсер-ленинец». Звучало хлестко, к тому же и справедливо.

Об экономической и социальной политике Сталина тоже сразу решили, что она имеет мало общего с ортодоксальным марксизмом, поскольку основана на примате политики над экономикой. В самом марксистском учреждении — трудовом лагере — действует закон австрийской экономической школы, восторженно доказывал Лев, радуясь очередному парадоксу. И я соглашался, что Марксова экономика — философская фантастика, а концепция Бем-Баверка и Менгера — реальность лагерного бытия.

С началом войны наши встречи стали реже, чем каждодневные, но не прерывались. В Норильске появился Николай Александрович Козырев — его перевели из Дудинки и поселили в бараке металлургов, дали койку рядом с моей. Сколько помню, со Львом его познакомил я — они быстро сошлись душевно. Нас стало трое друзей. Но Лев все больше сдруживался с Козыревым, тройственное общение часто превращалось в двойственное. О моих отношениях с Козыревым глава особая, он из людей, что заслуживают не отдельной главы, а полного романа.

Иногда в наш дружеский коллектив подмешивались и другие люди. О двух расскажу. Первый — Никанор Палицын, отчаянный химик-органик, смело бравшийся синтезировать любое лекарство, препарат и вообще все, что поддается химическому расчету. Высокий, худой с усиками, с тонким голосом, быстрыми движениями, он был обаятелен, Никанор Палицын. Он трудился вместе со мной в ОМЦ — опытном металлургическом цехе — его комната, где вместе с ним работали мрачный Ян Эрнестович Бауман, старик Всеволод Михайлович Алексеевский, Надежда Георгиевна Заостровская — примыкала к моей потенциометрической. Никанор увлекательно врал, что в линии примерно десяти-двенадцати поколений — родня знаменитому троицко-сергиевскому келарю Авраамию Палицыну. После освобождения и реабилитации Никанор трудился у самого Несмеянова — и готовил академику искусственную рыбную икру для ошеломления журналистов. Никанор и не на такие химические штучки был способен.

Но в наши беседы со Львом он не всегда вникал, и они редко его по-настоящему захватывали. Деизм и пантеизм, силлабика и тоника, Шопенгауэр и Декарт его не увлекали, а то были типичные у нас со Львом темы. Помню, как-то втроем мы расположились на пригорочке Угольного ручья. Шло редкое на Севере лето — томное, теплое, тихое — сатанели комары. Мы со Львом натянули на лбы козырьки шапок, укрыли лица полотенцами, блаженно попирали спинами и задами ягельник и спорыш — вот уж дивная трава, и на крайнем юге ее хватает и до северных мхов дотягивается, — и вели спор на какую-то животрепещущую тему — наверно, выше ли Каспар Шмидт и Макс Штирнер Фридриха Ницше и есть ли рациональный смысл в прагматизме Джеймса и Льюи, и что люди XVII и XVIII веков на порядок выше нас — особенно в литературе и музыке: об архитектуре и говорить не стоит, архитектура тех веков несравнима!

Никанор долго не встревал в разговор, потом взмолился:

—Ребята, это же бог знает что — безжалостно отдавать себя на съедение гнусу. Давайте походим по зоне, ветер будет отдувать комаров.

—Изыди, Никанор, — сказал я без злобы. — Ты не приспособлен выдержанно сопротивляться натиску враждебных полчищ. Ты только в химии силен, а против комара — трухляв.

Никанор обиделся, что с ним бывало не часто, и негодующе воскликнул самым тонким из своих голосов:

— Еще вас научу, как защищаться от гнуса! Если хотите, я выживу в любой обстановке, где вы сдадите, я куда больше вас приспособленный терпеть. Но зачем лишку страдать, вот что объясните?

Объяснить, где мера терпежу и страданий, мы со Львом не могли и продолжали наш спор. Никанор еще помаялся и вскочил.

— Ну вас к черту! Мочи нет отдавать себя на жратву злым тварям. — И убежал.

Один из нас злорадно заметил:

— Выживание наиболее приспособленных.

— Выжили наиболее приспособленного, — поддержал другой. Недавно, во время нашей встречи в Ленинграде, Лев вспомнил тот давний эпизод, и мы также весело хохотали, как и в тот комариный денек на берегу Угольного ручья, глухо заэкранированные тряпьем от гнуса и оживленно спорящие сквозь тряпье о Ницше и Джеймсе и остроте разума Монтеня и Свифта.

На некоторое время к нашей компании пристал Миша Дорошин. Собственно, приятельствовал с ним я, а Лев лишь терпел мое с ним приятельство. Миша был поэт, автор каких-то книжек и уже кандидат в члены Союза писателей СССР, то есть, если не в наших со Львом глазах, то в своих собственных завершенный поэтический мэтр. Кроме того, он был добрый, покладистый парень, с ним было легко, ему верилось — а это в лагере высшая мера хвалы. Вкалывал он дежурным в трансформаторной будке на промплощадке. Я временами пугал его, что трансформатор наилучший объект для эффективного вредительства — перекинет кто-нибудь из настоящих диверсантов кабель с высоковольтной стороны трансформатора на низковольтную — и вышка дежурному обеспечена. Миша так искренне пугался грозной возможности, что приходилось великодушно его утешать — не все, мол, диверсанты допетривают, какие таятся в простом высоковольтном трансформаторе технические ужасы, а я, если и встречу настоящего вредителя, то крепко обещаю не посвящать его в преступные тайны.

Во время одной прогулки втроем произошла забавная история. Я уже «имел ноги», то есть пропуск для бесконвойного хождения, Лев, кажется, был уже «вольняшкой», а Миша вроде тоже ходил по пропуску. Мы сидели на склоне Шмидтихи, внизу лежал Норильск, вдали виднелась — или мне теперь воображается, что виднелась — река Норилка, сыгравшая в этом событии сюжетную роль. Мы поочередно читали свои стихи. Льва, естественно, дружно хвалили; что говорили о творениях Дорошина, не помню, а мои стихи удостоились строгого дорошинского осуждения.[[1]](#footnote-1) Среди прочих стишат я прочел и такое:

Я вижу в снах ясней, чем наяву.

Мой старый дом и сад, и солнца блики.

И я к ним рвусь, и с криком их зову.

Но лживы сны мои и тщетны крики.

Меня не воскресит ни отчий дом,

Ни солнце, поданное мне на блюдце.

Распни меня на имени своем

И протяни, как дар прощенья, людям...

—Отвратительно! — с воодушевлением доказывал Миша, — не понимаю, как тебя сморозило на этакую чушь. Солнце на блюдце, распнуть на имени и вообще какой-то дар прощения. Изыски, пижонство, эстетство, а где поэзия, Сергей, нет поэзии!

— Прочту последнее стихотворение и кончим диспут, — сказал я. И обведя руками возвышавшуюся над нами Шмидтиху и дальние окрестности, я задекламировал:

На склонах Шмидтихи лежит ночная мгла,

Шумит Норилка предо мною.

Мне грустно и легко, печаль моя светла,

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой! Волненья моего

Ничто не мучит, не тревожит

И сердце вновь горит и любит — оттого.

Что не любить оно не может.

—     Ужасно! — изрек Миша непререкаемый вердикт. — Какое отсутствие вкуса! Тобою, тобой, одной тобой — что за сентиментальное слюнтяйство и какой беспомощный повтор! Нет, Сергей, инженер и физик ты неплохой, а стихи тебе не даются, брось это дело, оно не про тебя.

Лев в восторге катался по траве и, восхищенно хохоча, бил руками по склону сумрачной и громоздкой Шмидтихи. А вдалеке что-то посверкивало — возможно, та самая Норилка, которая шумит, — Арагва ведь была далеко, и ее не было слышно не только

Стихи стали причиной первой ссоры Льва со мною.

Деятельный Евгений Сигизмундович Рейхман загорелся провести конкурс норильских поэтов. Это было не так-то просто — поэтов разбросали по разным лаготделениям, «ног» почти никто не имел, стихи понадобилось передавать по лагерной оказии, а это операция ненадежная и нескорая. Однако трудности преодолели, и все, считавшие себя причастными к поэзии, представили свои творения на строгий суд.

Конкурс организовали по высшей категории. Формально он считался анонимным — соискатели высоких оценок подавали — под девизом — по пять стихотворений, а те оценивались жюри двенадцатибально: двенадцатая категория «шедевр»: одиннадцатая «гениально», а просто «хорошо», где-то ниже восьми или семи. Сколько помню, даже «бездарно», означалось не единицей, но двойкой — а что носило на себе позорное клеймо единицы, могу только гадать.

Анонимность авторов была скорей кажущейся, чем реальной. Я знал, что в конкурсе приняли участие и Лев, и мои друзья Игорь Штишевский и Ян Ходзинский, хорошие ребята, неплохие специалисты в своем ремесле, но поэты вполне посредственные. Фаворитом, естественно, числился Лев — я сам был уверен, что первое место ему «завещано от природы». Тем более, что его стихи, присланные на конкурс, были ведомы всем членам жюри, а председатель жюри, нежно любящий его Рейхман верил, как и я, что Лев впоследствии превзойдет своих родителей.

О Рейхмане хочу сказать особо. Среди членов жюри был критик — Зелик Яковлевич Штейман, в вольном своем «предбытии» прославившийся тем, что он — напрасно, конечно, — помог прекращению издания словаря Брокгауза и Эфрона и печатно уничтожил знаменитого тогда — и неплохого, по гамбургскому счету, — писателя Пантелеймона Романова, а еще больше тем, что в статье «Литературные забавы» М. Горький изничтожил самого Штеймана. Вторым членом жюри был Иван Сергеевич Макарьев, на воле третий секретарь Союза писателей СССР — после Владимира Ставского и Александра Фадеева. С этими двумя — Штейманом и Макарьевым — я, тогда отдаленно знакомый, впоследствии подружился. Других членов жюри не помню, но наверно они были близки к литературе. Самым же замечательным членом жюри был его председатель — Евгений Сигизмундович Рейхман.

Если не ошибаюсь, сын миллионера, строителя железных дорог, Рейхман с детства тянулся к искусству, а не к технике. Деньги отца, разрешавшего сыну любительски изучать искусство, при условии честного инженерного образования, позволили Евгению Сигизмундовичу поездить по Европе, познакомиться с музеями Италии, Испании, Франции, Англии. Среди инженеров Норильска Рейхман считался металлоконструктором высокого класса, а мне он показывал напечатанную еще до Первой мировой войны книжку под названием, вроде «Влияние итальянского чинквеченто на роспись дворцовых залов Версаля». Еще он давал мне рукопись своей автобиографической повести, где живописался его, зеленого юноши, роман с некой прекрасной дамой Анной, благородно решившей близостью с собой уберечь юнца от неизбежности нехороших встреч с нехорошими женщинами, в чем так прямо и объяснилась ему. Доныне помню рефрен, сопровождавший каждую любовную сцену: «Ах, как она улыбалась, королева Анна!» В романе, помню, встречались наивности и вторичности, но поражал общий тон высокой культуры — совсем иные интересы полонили их души, чем у нас, плебеев, интеллигентов лишь в первом поколении.

Ответно на роман Рейхмана я дал ему свою философскую рукопись «Логика. Критика человеческого опыта». Рейхман высказывал мне немало похвал и критических замечаний — и то и другое было ценно, он понимал философию и умел философски мыслить. А после войны, уже, как я, вольный, он как-то, опьянев от шампанского, пригласил Клаву Иваницкую, с которой я сошелся и уже собирался расходиться, на вечере в ДИТРе танцевать — танцевал он великолепно. И стремительно объяснился ей в любви, заверив, что в наше время очень редко встречается такое интеллигентно-красивое лицо, как у нее, она напомнила ему, молодая, старых — в их молодости, конечно — благородных дам. К сожалению, Клава была не из тех, кто легко поддается, не то Евгению Сигизмундовичу пришлось бы убедиться, что внешность и суть не всегда корреспондируют одна другой. Впрочем, я такого разочарования ему не желал.

Итак, состоялся конкурс, расшифровали девизы, объявили оценки. Самая высокая досталась мне — сколько помню — 8,7, Лев получил 8,2, остальные были гораздо ниже. Помню, я был немного обескуражен — я ставил себя высоко, но Льва — выше. Он же вечером ворвался ко мне в барак разъяренный. Я еще не знал тогда, что он органически не выносит, когда кто-то в чем-то, для него важном, опережает его. Он смертно обиделся на меня. Он твердил, что я поступил непорядочно. Он, это всем известно, поэт, его будущая жизнь вне литературы немыслима — он намерен стать на воле писателем и станет им наперекор всему. А я — и это тоже всем известно — физик и философ, моя будущая жизнь — наука, он нисколько не удивится, если увидит меня в академической ермолке, но писателем мне не быть, дальше дилетантства в литературе я не пойду. И вот, чтобы намеренно подставить ему ножку, я старательно подобрал лучшие мои стишата, в то время как он, уверенный в себе, не затруднялся особым подбором вещей. Для меня первая оценка в поэзии — пустяк, она не выражает моих жизненных усилий и стремлений, она в силу этого глубоко незаслуженна. А для него вторая оценка — оскорбление и позор, я коварно замахнулся на самое святое в его душе, простить это нельзя. В общем, от друга он не ожидал таких сознательно злонамеренных действий.[[2]](#footnote-2)

В свою очередь обиделся и я. Еще никто не обвинял меня в коварстве, в тайном желании устроить друг другу подножку. И пусть Лев не говорит, что послал на конкурс случайные стихи, первые попавшиеся произведения, нет, он отправил свои лучшие вещи. Да и лучшие они или худшие, значения не имеет, они его, их все знают, их переписывают для себя, вот такое отношение к тем стихам, какие он отослал на конкурс. И если я обогнал его, общего любимца, — что ж, может, в том своя правда, ведь бывает, что и темная лошадка обходит на скачках признанного фаворита.

В общем, мы расстались недовольные друг другом. Разлад еще был непрочен, спустя несколько дней мы снова встретились, снова беседовали, спорили, хохотали, острили. Но что-то сломалось в нашей дружбе, порвалась одна из связующих нитей. Лев теперь с Козыревым встречался чаще, чем трио. А потом совершилась глупая история — и Лев придал ей значение, какого она не заслуживала.

Он пришел ко мне на вечерок. Мы часто уединялись с ним в чащобе двухэтажных нар, тайно выпивали в полутьме, у меня на работе попадался спирт, я приносил его на распив. В тот вечер, хорошо знаю, спирта не было, и лагерное застолье (в смысле «занарье», «принарье», «нанарье») не состоялось.[[3]](#footnote-3) Зато состоялась обычная беседа, завершившаяся, к сожалению, необычно. Мы обсудили весьма актуальную — особенно в лагерных условиях — тему: как влияла религия на души людей во все периоды ее многотысячелетнего торжества. Я сказал, что отрешенность Господа от людей ослабляла мощь религии. И наоборот, очеловечение Бога возвышало людей до божественной высоты. Если бы Христос не испытал мук, не было бы и самого христианства, хотя в области морали оно возвысилось до наивысших высот, какие знает человечество. Только политые кровью страдальца истины христианства вторгнулись в души, без тех евангелических страстей догмы христианства остались бы малоэффективной дидактикой. А у женского божества есть другой выход в души: личная — абстрактная, конечно — близость к верующему. Священная проституция жриц была важным фактором слияния с самим божеством уже у примитивных религий. А разве в самом названии Мадонна не выражена абстрактная возможность телесного слияния с Богородицей? «Рыцарь бедный» Пушкина не исключение, а лишь самое яркое выражение все того же ощущения вседоступности божества. Ведьмы «сношались» с бесами, шаманы вступали в телесное общение со своими божками, а католик, твердя «Мадонна», т. е. моя дама, утверждал свою собственную, личную, интимную связь с Богородицей. Лев вышел из себя.

— Да как ты смеешь? — кричал он. (У него было своеобразное произношение: он чуть-чуть пришепетывал и присюсюкивал, в минуты гнева голос шепелявил и сюсюкал сильней.) — Это мерзость, что ты говоришь! Я не позволю тебе оскорблять Богородицу.

Он был верующим, я это знал. Я еще допускал какую-то справедливость в деизме, но в остальном был правоверный атеист. Но я не оскорблял Льва, я уже был в том возрасте, когда с пониманием и уважением относятся к любой вере, не совпадающей с твоей, если только она не античеловечна. Мне надо было разъяснить Льву, что он меня неправильно понял, и не было в моих рассуждениях умаления Богородицы, а напротив — своеобразное восхваление ее обаяния и силы захватывать души. В крайнем случае, извиниться, если объяснения не удовлетворят Льва. Так я и поступил, охладев, уже на следующий день.[[4]](#footnote-4) Вместо разумного поступка я действовал глупо. Я тоже вспыхнул — и дал отпор. Мы наговорили друг другу много скверного.

—Такие оскорбления смывают кровью! — сказал он, сильно побледнев. — Вызываю тебя!

—Принимаю вызов, — сказал я. — Как насчет секундантов?

—У меня будет Рейхман. Называй своего.

—Попрошу Игоря Штишевского или Федю Витенза.

—Витенз не подойдет, он еврей. Я тебя вызвал, ты называешь оружие.

—Дуэльные пистолеты. В крайнем случае — револьверы.

—Где я тебе достану пистолеты или револьверы?

—Твое собачье дело — доставать оружие. А мое требование — раз дуэль, то по всей строгости святых дуэльных правил.

—Достану, — хмуро пообещал он и убежал.

Штишевский высмеял меня. Дуэль в лагере? Большего вздора он не слыхал! Да и где мы будем драться? В зоне? В бараке? Он уже не говорил об оружии — оружия не достать, не украсть, не изготовить. Нет, я хорошо это придумал — чтобы на пистолетах. И благородно принял вызов и обеспечил его полное невыполнение. Напрасно я уверял Игоря, что реально дрался бы, появись такая возможность. Он был человек ироничный и любил смеяться.

Лев несколько дней метался в поисках оружия и секундантов. Рейхман отпал сразу, он был в другой зоне и «ног» не имел. Мог «секундировать» Козырев, но он был в это время в геологической партии, чего-то обследовавшей на Таймыре, да и не уверен, что Лев поделился бы с ним затруднениями, отношения их складывались неровно. В общем, Лев явился ко мне и известил, что от секундантов отказывается, а огнестрельного оружия достать не может.[[5]](#footnote-5)

—Обойдемся без пистолетов, — с воодушевлением развивал он новый вариант дуэли.

—В наших мастерских изготовим длинные ножи, знаешь, вроде коротких шпаг. Отлично сразимся на кинжалах!

От ножей, похожих на кинжалы или короткие шпаги, я категорически отказался. Я не мясник, живность не режу, тем более — одухотворенную, хотя и глупую. Лев вдохновенно создал новый вариант.

—Ты, конечно, знаешь американскую дуэль — противники таятся, выслеживают исподтишка один другого, а выследив, кидаются как лис на куропатку. Оружие — разнообразное, на все вкусы — кулаки, камни, кистени, железные палки, в общем, ручное и подручное. За оружием дело на станет.

—Жюль Верна я читал, — сказал я с достоинством. — Американка Барбикена и Николя описана впечатляюще. Отвратительная штука, достойная одних американцев. Нет, я согласен только на европейскую дуэль.

Лев еще недельку пропадал, потом появился с новым предложением. Огнестрельное оружие в лагере достать невозможно; американку я презрительно отвергаю. Короче, дуэль реально не осуществить. Но хоть она не выполнима сейчас, вызвавшие ее причины сохраняются. Он предлагает отложить дуэль до лучших времен. Выйдя на волю, мы сможем отлично расправиться друг с другом. Как я смотрю на такую перспективу? Я смотрел на перспективу взаимного истребления в будущем вполне положительно. Мы обменялись дружеским рукопожатием. Не только дуэль, но и наша ссора была отложена до лучших времен. Хоть и не так часто, как прежде, мы продолжали встречаться, и отношения наши чувствительно потеплели.

А затем Льва освободили — кажется, в 1944 году.[[6]](#footnote-6) Он еще помаялся какое-то время в Норильске, потом «выехал на материк», успел повоевать, получить орден — так у нас говорили в Норильске, — ушел в науку, защитил диссертацию, снова попал в лагерь, — в третий раз, — освободился, реабилитировался, осилил, преодолев специфические препоны, докторскую — даже две, по истории и по географии, — определился в профессора ЛГУ и стал накапливать лавры. Ныне он показывает себя оригинальным социальным мыслителем, от старого остались любовь к литературе да неистребимая потребность дуэлировать со своими научными противниками — на печатных страницах и на научных сборищах, именуемых симпозиумами и конференциями. Известность его как ученого и мыслителя постепенно расползается по зарубежью. Уверен, что настоящая слава придет к нему оттуда, из-за рубежа — в своем отечестве пророков не признают, да еще таких своеобразных, как он.

В середине шестидесятых годов мы с женой приехали в Ленинград. Галка, много слышавшая от меня о Льве, захотела с ним познакомиться. От Козырева мы узнали адрес Льва. Козырев осторожно предупредил, что характер у Льва в лучшую сторону не переменился — вспыльчив, категоричен, нетерпим. Я бодро заверил Николая Александровича, что нового он мне не открыл, люди в принципе не исправляются, старея. У них в это время — Льва и Козырева — была очередная «расплюйка», в скорости превратившаяся в полный разлад. Лев долго ни с кем, мне кажется, не способен сохранить добрые отношения. Я всю жизнь гордился, что не теряю друзей — книги терял, любовниц терял, с женами расходился, а друзей сохранял навечно. Наша дружба со Львом, смею надеяться, сохранилась, но трясло и разламывало ее, как прогулочную шлюпку в приличный шторм.

Лев жил тогда на Московском проспекте в небольшой комнатушке, книги на столе и на стульях, неубранная постель, сравнительно чисто, но впечатление какой-то застарелой запущенности. И сам он, одетый в чистое, но помятое белье, небритый, потолстевший, посеревший, казался запущенным и неустроенным. Он узнал меня быстро — в следующую встречу, лет через десять, он припомнил меня не сразу, за те новые десять лет, мы переменились радикальней, чем за предшествующие двадцать.

Разговор был оживленный — под водку или коньяк, не помню что[[7]](#footnote-7), но что-то, естественно, было. Вспоминали «тихим, незлым словом» лагерное бытие, а потом я напомнил Льву о несостоявшейся дуэли.

—Не пора ли разделаться со старыми долгами? Лично я не возражаю.

—Да, дуэль должна быть, — согласился он.— И причины у нее, конечно, были серьезные. Но, видишь ли, не помню причин нашей ссоры, Так что в дуэли теперь нет резона. Или ты считаешь по-другому? Я считал, что и двадцать с лишком лет назад не было резона в дуэли, а сейчас тем более. И мстительно напомнил Льву, как развивалась наша ссора. Сперва жюри конкурса поэтов выше всех оценило мои стихи, а произведениям Льва отвело второе место. И он счел, что я коварно подвел его, ибо он поэт и долженвпоследствии стать писателем, а я ученый и должен в дальнейшем быть только ученым — негоже поэту пропускать в родной стихии вперед какого-то ученого. И еще я напомнил, что неудачно высказался о Богородице, отнюдь не желая оскорблять ее, а он принял мои слова за поношение религии — и не стерпел этого.

И я злорадно закончил:

— Скажи мне теперь, профессор, кто из нас стал писателем, а кто ученым? Не кажется ли тебе, что в той оценке моих стихов была какая-то внутренняя справедливость?[[8]](#footnote-8)

1. Это было в зоне в 1942 году. (Здесь и далее примечания Л. Н. Гумилева к тексту, присланному ему С. А. Снеговым.) (Сост.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Это ты наврал. Я помню, что был в числе первых трех. А о баллах не знал. [↑](#footnote-ref-2)
3. Наврал. [↑](#footnote-ref-3)
4. Не помню. [↑](#footnote-ref-4)
5. Напутал. [↑](#footnote-ref-5)
6. 1943 год – точно. [↑](#footnote-ref-6)
7. Чай. Трезвость. [↑](#footnote-ref-7)
8. Serge! Хоть ты много перепутал, но оставь так. Leon. [↑](#footnote-ref-8)